

# РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ МИРА

УДК 821.161.1:821.111  
<https://doi.org/10.23951/1609-624X-2024-1-114-122>

## Прошлое и будущее в *Home Life in Russia*: Чичиков и помещики

*Анастасия Михайловна Сердюк*

*Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
Томск, Россия, [an.serdyuk@mail.tsu.ru](mailto:an.serdyuk@mail.tsu.ru)*

### *Аннотация*

Искаженный перевод поэмы «Мертвые души» Н. В. Гоголя *Home Life in Russia* был опубликован в Лондоне в 1854 г. Многочисленные вольности анонимного переводчика изменили смысл текста, направив его на формирование негативного образа России и ее населения. Ключевая для оригинала идея духовного возрождения сменяется идеей морального отставания России от Великобритании, в связи с чем категория настоящего, в оригинале концептуально наименее значимая, выдвигается на передний план. В статье рассмотрены проявления категорий прошлого и будущего в *Home Life in Russia* в свете новой идеи и целей. Роман *Home Life in Russia* и лежащий в его основе первый том поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» рассмотрены с использованием сравнительного, культурно-исторического и герменевтического методов. Настоящее в романе конкретизируется и сдвигается в 1840-е гг., способствуя смещению фокуса с бытийной проблематики на бытовую. Из антропологических моделей (В. Кривонос) герои превращаются в (этно)социальные типы, якобы достоверно демонстрирующие современное автору состояние российского общества: с одной стороны, варварство, отсталость и моральное разложение, с другой – амбициозность, предприимчивость и стремление к приобретательству. В целом каждый герой сохраняет явное сходство с оригиналом, однако наиболее значимые указания на возможное возрождение души в будущем, как завуалированные и неоднозначные в случае помещиков, так и прямые в случае Чичикова, исчезают из английского текста. В результате заметно редуцируются и изображения будущего и прошлого героев, «вырывающие» их из мертвого настоящего. Изменения происходят как на содержательном уровне, так и на уровне повествования. Наиболее заметны трансформации Чичикова и Плюшкина, связанных как в оригинале – надеждой на духовное возрождение, так и в *Home Life in Russia* – окончательностью падения. Трансформируя или опуская способы изображения прошлого и будущего персонажей, автор редуцирует их до образа, в котором они существуют в настоящем. Каждый из них становится статичной, завершенной картиной в созданной автором-переводчиком галерее нравов.

**Ключевые слова:** Гоголь, «Мертвые души», образ будущего, вольный перевод

**Для цитирования:** Сердюк А. М. Прошлое и будущее в *Home life in Russia*: Чичиков и помещики // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2024. Вып. 1 (231). С. 114–122. <https://doi.org/10.23951/1609-624X-2024-1-114-122>

# RUSSIAN AND WORLD LITERATURE

## Past and future in *Home Life in Russia*: Chichikov and the landowners

Anastasiya M. Serdyuk

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, [am.serdyuk@mail.tsu.ru](mailto:am.serdyuk@mail.tsu.ru)

### Abstract

*Home Life in Russia* (1854) is a distorted translation of Nikolai Gogol's *Dead Souls*, aiming mainly at forming a negative image of Russia and its people. The original key idea of spiritual rebirth is replaced by that of Russia's moral inferiority to Britain, shifting the focus to the present, originally subordinate to the past and future. The article examines how the original temporal imagery transforms in the novel. *Home Life in Russia* and *Dead Souls* are examined using comparative, cultural-historical and hermeneutical methods. The now specified present moves from the 1830s to the 1840s, helping to accentuate everyday problems as opposed to the existential ones. The characters originally serving as anthropological models (Krivonos) become (ethno)social types. They are said to reliably demonstrate the current state of Russian society, depicted as barbaric, backward, and morally decayed while also full of ambition, enterprise, and the urge to acquire. In general, each of the characters strongly resembles the original one, but the most significant indications of their potential spiritual rebirth, both implicit (the landowners) and explicit (Tchichikoff), disappear from the text. This notably reduces mentions of the characters' future and past, allowing them to escape the dead(ly) present. These changes occur both in the plot and narrative. Tchichikoff and Plyushkin, connected both in the original by the prospect of their spiritual rebirth and in *Home Life in Russia* by the finality of their fall, transform the most noticeably. Transforming or omitting the depictions of the characters' past and future, the author reduces them to the image they have in the present. Each of them becomes a static, complete picture in the newly created gallery of morals.

**Keywords:** Gogol, *Dead Souls*, image of the future, free translation

**For citation:** Serdyuk A. M. Proshloye i budushcheye v Home life in Russia: Chichikov i pomeshchiki [Past and future in "*Home Life in Russia*": Chichikov and the landowners]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin*, 2024, vol. 1 (231), pp. 114–122 (in Russ.). <https://doi.org/10.23951/1609-624X-2024-1-114-122>

### Введение

Роман *Home Life in Russia* был опубликован в Лондоне в 1854 г. Имя автора (a Russian noble) не раскрывалось якобы из соображений его безопасности, а легшая в основу романа история описывалась как реальная и весьма известная в России [1]. Однако вскоре после публикации критик журнала *Athenaeum* разоблачил в романе искаженный перевод «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. На сегодняшний день книга остается почти неизученной, удостоившись наиболее пристального внимания в статье К. Лефевра о рецепции Гоголя в Англии времен Крымской войны [2], а также в диссертации О. В. Нестеренко, посвященной англоязычной переводческой рецепции «Мертвых душ» [3]. В основном же обращения к ней сводятся исключительно к упоминанию, что, впрочем, неудивительно: роман не обладает собственной художественной ценностью, не может считаться успешным как перевод и не внес значимого вклада в английскую рецепцию Гоголя. Тем не менее он демонстрирует показательные закономерности в развитии русско-британских литературных связей на определенном этапе, а также специфику влияния политической ситуации на процесс литературного обмена.

В рецензии *Athenaeum* особенно подчеркивались переводческие вольности, создающие в итоге впечатление «неуклюжей лести» [4, с. 1455] (здесь и далее перевод наш. – А. С.), составляющей, как представляется, главный смысл и посыл романа, созданного в разгар Крымской войны. В предисловии и в самом названии целью заявляется просвещение читателя в вопросе внутренней жизни России, «древних союзников» и нынешних врагов» [1], но текст явно направлен на формирование антиобраза страны и ее населения. Масштабная эпопея о пробуждении спящей и возрождении мертвой души сворачивается до истории афериста, влюбившего в себя провинциальный город, но не сумевшего обмануть закон и закончившего свой путь в Сибири.

В отличие от литературных мистификаций, представляющих собой полную фальсификацию, самостоятельное произведение [5, с. 10–12], в рассматриваемом искаженном тексте новые задачи решаются на оригинальном материале за счет привнесения в него чуждых и трансформаций присутствующих ему элементов. Так, с ключевой для оригинала идеей духовного возрождения человека неразрывно связана категория будущего в соотношении с

категориями прошлого и настоящего. Настоящее на пути к возрождению служит отправной точкой: преодоление пространства мертвых душ невозможно, необходимо преодоление «мертвого» времени. Именно в нем находит себе оправдание Чичиков: «Кто ж зевает *теперь* на должности? – все приобретают» [6, с. 224] (здесь и далее курсив наш. – А. С.) – само время порождает «тех, кто, подобно ему, готов приобрести весь мир, но потерять душу» [7, с. 253]. В таком настоящем возрождение невозможно, и потому все надежды на духовные трансформации героя в первом томе связаны с будущим. Настоящее же застывает, выпадает из фокуса автора-повествователя и предстает максимально абстрактным: как календарное, так и историческое время в поэме вообще изображается принципиально парадоксально и анахронично [8, 9]. В свою очередь прошлое, также оказывающееся за пределами застывшего, «мертвого» момента, становится неким залогом будущего, на уровне повествования словно вынося героя из настоящего, в чем слышится и отголосок нередко используемого Гоголем в более ранних произведениях приема изображения прорыва в прошлое как залога духовного освобождения [9, с. 242]. В данной статье рассмотрены проявления означенных временных категорий в романе *Home Life in Russia* в связи с изменением в нем идеи и целей «Мертвых душ».

### Материал и методы

В статье рассматривается роман *Home Life in Russia* и лежащий в его основе первый том поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Используются сравнительный, культурно-исторический и герменевтический методы.

### Результаты и обсуждение

Прежде всего следует отметить общую конкретизацию хронотопа: Чичиков въезжает в *Смоленск* «одним прекрасным летним днем несколько лет назад» [1, с. 1]. Если действие оригинала датируется самое позднее 1830-ми гг. [8, с. 163], то в *Home Life in Russia* оно перемещается в 1840-е гг. [10, с. 80], способствуя смещению фокуса с бытийной проблематики на бытовую и становясь фоном для трансформаций, которые претерпевают герои книги.

По мнению В. Ш. Кривоноса, герои «Мертвых душ» представляют собой антропологические модели, идеи людей. В частности, Чичиков за счет особенностей его изображения становится антропологическим символом, демонстрирующим способность к преобразению человеческой личности, прояснению в ней образа Божьего [11, с. 30]. Кроме того, несмотря на онтологическую статичность героев, ставшую в гоголеведении общим местом, в каждой из этих «восковых фигурок» (В. Розанов)

так или иначе прослеживаются «отблески» души, намеки на потенциал к ее пробуждению, отраженные, в частности, в указаниях на их прошлое или будущее. Для автора же *Home Life in Russia* они выступают, скорее, социальными типами, позволяющими продемонстрировать прежде всего особенности российского общества, в связи с чем на передний план выходит не абстрактное духовное возрождение человека в будущем, но конкретное (в версии автора) настоящее русского мира, воплощенное прежде всего в образах помещиков и Чичикова.

Первый помещик, **Манилов**, в «Мертвых душах» на первый взгляд весь устремлен в будущее. В настоящем он, как и его гость, неопределен как портретно («страшно трудны для портретов»; «тонкие, почти невидимые черты» [6, с. 24]; ср.: Чичиков «не красавец, но и не дурной наружности...» [6, с. 9]), так и психологически («Один бог разве мог сказать, какой был характер Манилова... ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан» [6, с. 24]). Основным, если не единственным его занятием оказывается размышление, причем «о чем он думал, тоже разве богу было известно» [6, с. 25]. Однако дальнейшее повествование несколько проясняет мысли Манилова и для читателя: это мечты и планы, сослагательное наклонение и будущее время. Все его *проекты* заведомо неосуществимы. Очевидно замеревшее настоящее – вечно заложенная на четырнадцатой странице книга, вечный медовый месяц, вечная незавершенность устройства – полностью устраивают его. Его жизнь – своего рода идиллия (недаром современные интерпретаторы нередко оправдывают маниловскую статичность [12]), но существующая только в его воображении: объективно поместье близко к упадку («Зачем, например, глупо и бестолку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой?...» [6, с. 26]). Даже в более определенных упоминаниях будущего читается, скорее, их связь с настоящим. Так, герой беспокоится, будет ли чичиковская «негодия» соответствовать «гражданским постановлениям и дальнейшим видам России» [6, с. 35], но последние представляются лишь некоей формулой, в то время как действительное беспокойство вызывает нарушение постановлений, способное разрушить идиллию; планы же на дипломатическое будущее Фемистоклуса [6, с. 31], по всей видимости, не имеют под собой серьезных оснований и служат лишь для подкрепления родительской гордости в моменте.

В то же время прошлое для Манилова, погруженного в свою идиллию, – далекий отголосок, значимый только в связи с настоящим («В нашем полку был поручик... И вот ему теперь уже сорок с лишком лет, но благодаря бога *до сих пор так здоров, как нельзя лучше*» [6, с. 32]), в целом же прошлое

словно вовсе выпадает из поля зрения Манилова: «Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?» – «Да уж давно; а лучше сказать – не припомню». «Как с того времени, много у вас умерло крестьян?» – «А не могу знать» [6, с. 32]. Прошлое уже не имеет значения в сравнении с идеальным настоящим, а будущее способно лишь тавтологично приукрасить его. Сама человеческая природа позволяет Манилову претендовать на возрождение, проявление и в нем образа Божьего – в конце концов, *богу было известно*, о чем он думал, – но, погрязнув в настоящем, увидеть в этом нужду он не способен.

Образ Манилова в *Home Life in Russia* едва ли отличается от оригинального. Он так же проводит дни в размышлениях, неизвестных никому, кроме Бога: *...he seemed always busy thinking and meditating, but what about? that also might be known in Heaven* [1, с. 122]. Его речь так же наполнена формами условного и сослагательного наклонения [1, с. 123], прожекты остаются прожектами (*...these projects, however, remained what they originally were – thoughts and wishes* [1, с. 123]), беспокойство же о дальнейших видах России становится еще менее осмысленным и более формализованным, будучи подчеркнуто сравнением Манилова с «государственными мужами всех наций, обсуждающими сегодня политические разногласия между Россией и Турцией» [1, с. 155]. В настоящем продолжается вечное обустройство, вечный медовый месяц, и даже книга остается годами заложена на одной странице. Сохраняется и реальный упадок на фоне воображаемой идиллии: *...there are many other occupations in a house... and many and various are the questions that could be put as regards a household in general. Why, for instance...* [1, с. 126]. Единственное отношение Манилова к прошлому также остается единственным и мимолетным: *In my regiment we had a lieutenant... At present he is more than forty years old, and thank Heaven, as well and healthy as he could wish to be* [1, с. 144]. Итак, в образе Манилова в *Home Life in Russia*, как и в оригинале, на передний план выходит его нежелание, а потому и неспособность преодолеть закоренелость настоящего и пробудить омертвевшую душу.

**Коробочка**, в отличие от Манилова, связана прежде всего с прошлым. Ключевой характеристикой ее и ее пространства выступает старость: *старенькие* полосатые обои, *старинные* маленькие зеркала, *старая* колода карт, сама хозяйка – «женщина пожилых лет» [6, с. 44]. Позже среди картин Чичиков замечает и портрет Кутузова, и старика в мундире эпохи Павла I [6, с. 46], при всей неоднозначности датировки настоящего в поэме [8] в любом случае отсылающие к прошлому. Более того, сама речь помещицы словно растягивает прошлое.

Так, Чичиков прибывает к ней в два часа ночи [6, с. 44], т. е. ночь продолжается, однако в устах Коробочки она обретает завершенность: «...у меня всю ночь горела свеча перед образом» [6, с. 45]. Неоднократно в ее речи возникает образ покойного супруга, связывающий настоящее с прошлым: «Ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподним и прежде просуши их перед огнем, как дельвали покойнику барину» [6, с. 45]; «Покойник мой без этого никак не засыпал» [6, с. 45] – новое отождествляется со старым, утрачивая пугающий элемент неизвестности. Новое действительно пугает Коробочку едва ли не больше черта, что для Чичикова становится главной проблемой: «Право, не знаю, – произнесла хозяйка с расстановкой. – Ведь я мертвых никогда еще не продавала» [6, с. 50]; «Право, я боюсь на первых-то порах» [6, с. 51].

Будущее при этом также важно для Коробочки, но сужено до будущего ближайшего и сугубо хозяйственной сферы: «...лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам» [6, с. 52]; «У меня о святках и свиное сало будет. <...> Может быть, понадобится еще птичьих перьев. У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья» [6, с. 55]. Значимой представляется и ее ориентация на церковный календарь, закрепляющий будущее в постоянно повторяющемся цикле, соединяя его и с прошлым. В будущее направлен и принцип ведения хозяйства, свойственный Коробочке и прочим «матушкам»-помещицам, бережливо собирающим и откладываящим про запас и деньги, и вещи, которым суждено пережить хозяек.

Коробочка словно разрывается между прошлым и будущим, к первому устремляясь духовно, к последнему – материально; настоящее же оказывается несущественным. Но если воображение Манилова создает идиллию, в реальности оборачивающуюся упадком, то мысль Коробочки, напротив, не позволяет ей заметить почти идиллических условий ее быта. Бесчисленные индейки и куры, плодородные огороды, фруктовые деревья, добротные избы не утешают хозяйку, неустанно причитающую о тяжести времен: «...да беда, времена плохи» [6, с. 48]; «...да вот беда: урожай плох» [6, с. 55]; «И умер такой все славный народ, все работники. После того, правда, народилось, да что в них, все такая мелюзга» [6, с. 49] (последнее утверждение, если трактовать его в ключе не возраста, но способностей крестьян, позже опровергается: «девка... хватил обоими кулаками в ворота так сильно, хоть бы и мужчине» [6, с. 166]). Не способная ни к прыжку в будущее, ни к возвращению в прошлое, Коробочка вынуждена оставаться в настоящем и соответствовать ему, ставя во главу угла собственную выгоду.

Однозначность этого образа, однако, разрушается вопросом повествователя: «...да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования?» [6, с. 56] – не подводящим ее в полной мере к «прорыву», но все же открыто намекающим на его возможность. В *Home Life in Russia* этот эпизод отсутствует вообще. Остальные временные элементы образа остаются почти без изменений: бросающаяся в глаза старость Коробочки и ее пространства не только сохраняется, но и подчеркивается (*old and old-fashioned striped paper-hangings, rococo-fashioned looking-glasses, an old pack of cards; she was an elderly person* [1, с. 179–180]), «растягивание» прошлого передано эквивалентно (*I have kept my candle burning all night long* [1, с. 184]; *...dry them well before the fire, as you did with those of your late master...* [1, с. 185]; *My late husband would never go to sleep unless this was done to him* [1, с. 186]), как и опасения по поводу будущего (*Really, I don't know <...> Because, I never in my life sold any dead serfs before* [1, с. 201]). Усиливается и ее погруженность в настоящее: так, портрет Кутузова сменяется портретом Паскевича [1, с. 187], а сопоставление умерших и «народившихся» крестьян лишается интерпретационной неоднозначности (*...what good are they as yet? they are all too young* [1, с. 199]). Таким образом, надежда на ее возрождение исчезает окончательно.

**Ноздрев** в аспекте временных отношений стоит несколько особняком, безудержной ложью с равной свободой конструируя и настоящее, и прошлое, и будущее и в результате в полной мере не имея ни первого, ни второго, ни третьего. Вся его жизнь словно сведена к моменту: он безрассуден, порывист («Дружбу заведут, кажется, навек; но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера на дружеской пирушке» [6, с. 67]; «Если ему на ярмарке повезло напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего... почти в тот же день спустилось оно все другому...» [6, с. 69]), забывчив и отходчив: «Чем кто ближе с ним сходил, тому он скорее всех насаливал... если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь подружески» [6, с. 69]. Полностью исключить прошлое из его образа тем не менее не было бы справедливо. Прежде всего, его прошлое отчасти описано: известно, что он был женат, но овдовел, через категорию «разбитных малых» кратко и обобщенно упоминаются и его школьные годы. Однако здесь же эксплицируется его неспособность к изменению: «Ноздрев в тридцать пять лет был таков же совершенно, каким был в осьмнадцать и в двадцать: охотник погулять. Женитьба его ничуть не переменяла...» [6, с. 67]; обрывки прошлого лишь

подчеркивают его онтологическую сиюминутность. Тем не менее существует и альтернативное прошлое его рассказов: от преувеличений на основе реальных событий (рассказ о ярмарке) до полностью воображенных эпизодов (детство с Чичиковым, участие в подготовке увоза губернаторской дочери и т. д.), имеющее в его глазах, очевидно, большее значение, нежели подлинное. Неоднородность и недолговечность его версий, однако, открывают в нем порождение настоящего: каждый раз Ноздрев создает прошлое, нужное ему *сейчас*; в другую секунду эта версия без труда сменяется новой. Таким образом он сам лишает себя возможности «прорыва»: прорываться ему просто некуда.

В *Home Life in Russia* основные характеристики Ноздрева, в том числе и темпоральные, сохраняются. Его история передается последовательно точно, фиксируется и его неспособность меняться: *Nosdrieff, at thirty-five years of age, was in all these talents as accomplished as he was when only eighteen or twenty; exceedingly fond of dissipation. His marriage did not in the least interfere with his pleasures, nor change him* [1, с. 250]. Интересно, однако, что вневременная по своей сути характеристика «разбитной малый» [6, с. 70] превращается в *man who have cut his eye teeth* [1, с. 250], обозначающую человека, приобретшего жизненный или профессиональный опыт с ранних лет или за долгое время [13] – в обоих случаях значимо прошлое. Тем не менее дальнейшим текстом она не подкрепляется и представляется использованной ошибочно.

Как в оригинале, так и в английской версии и реальная жизнь Ноздрева протекает более бурно, живо, нежели жизни других помещиков. Неслучайной представляется и легкость, с которой он использует как обращение слово «душа» («...поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя!» [6, с. 63]; «Ну, душа, вот это так!» [6, с. 66]; «Позволь, душа, я тебе влеплю один безе» [6, с. 161]). Более того, именно Ноздрев единственный из всех помещиков не продает Чичикову мертвых душ. К тому же уже сама семантика его фамилии намекает на некоторую одухотворенность, наличие в нем, пусть и в самых глубинах, живой души [14, с. 36]. Ничто из этого, однако, не способно доказать ее наличия: так, обращение «душа» может свидетельствовать и об обесценивании понятия (неспроста в отталкивающем большинстве героев сочетания «мертвые души» он, скорее, напротив, находит особое наслаждение), отказ от сделки может объясняться его упрямством, любопытством и горячностью, бурная жизнь не требует душевных движений, а фамилия может быть прочитана иронично. Тем не менее позитивная трактовка остается правомочной: гипотетически возможность будущего возрождения заключена и в Ноздреве.

В английском же варианте и она размывается: транслитерированная фамилия утрачивает «дышащую» семантику, из обращений «душа» сохраняется только одно (Ah, my soul, that is right! [1, с. 246]), а бурность жизни наряду со способностью увлеченно и искренне лгать рассматривается исключительно в социальном аспекте: *The Nosedrieffs are an exceptional class, whose type is peculiar to a half-civilization where a blow is accounted as no disgrace, and 'giving the lie' imparts no stigma* [1]. Наиболее вероятной причиной отказа от продажи мертвых в этом свете действительно представляется простое упрямство. Итак, Ноздрев в *Home Life in Russia* лишается всякой надежды на будущее возрождение, навечно закрепляясь в своем призрачном настоящем.

**Собакевич**, как до него Коробочка, тесно связан с категорией прошлого. Настоящее совсем не близко ему, в нем нет ничего – и никого – хорошего: «Я их знаю всех: это *все мошенники; весь город там такой*» [6, с. 92]. Однако Чичиков, воплощение настоящего, ему очевидно симпатичен, и сам помещик в эпизоде торга демонстрирует свою бесспорную к этому времени принадлежность. Неслучайно отсутствие в нем души проговорено прямо: «*Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует...*» [6, с. 96]. Однако и это отсутствие неполное («казалось» не было, «была, но вовсе не там, где следует»), а значит, душа в нем все же есть – в том или ином виде. Он и сам намекает на это, но, парадоксально, лишь в физиологичном контексте: «Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует» [6, с. 94]. Интересно, что к супруге Собакевич обращается не иначе как «душа» или «душенька», что, впрочем, можно трактовать и как дополнительное подтверждение гипотезы нарратора о душе вне тела, и как вербализацию ощущения ее отсутствия, некое восполнение потребности в ней. Примат настоящего при важности прошлого подчеркнут и картинами в его доме: «На картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь рост... <...> Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках» [6, с. 90] – крепкие современники соединяются с физически менее одаренным героем прошлого, антонимично воссоздавая картину мира Собакевича. Стремление к крепости, цельности быта в этом контексте представляется своеобразной попыткой удержаться за прошлое, соответствуя его высоким стандартам среди всеобщего хаоса и распада. Отчасти соответствует им и сам Собакевич, не способный к трансформации: «...*ты все был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя*

по моде... <...> Нет, *кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь!*» [6, с. 101].

Будущее в результате совершенно ускользает от Собакевича. Описывая умерших крестьян, он словно оживляет их в своем сознании, и особенно значимым представляется *смешение* времен глаголов: «Милушкин, кирпичник! *мог* поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом *кольнет*, то и сапоги... А Еремей Сорокоплексин! да этот мужик один *станет* за всех, в Москве *торговал*, одного оброку *приносил* по пятисот рублей» [6, с. 97]. Отчасти напоминая в этом Коробочку, Собакевич стремится продлить свое светлое прошлое, словно прозревая в настоящем ту же проблему, которую ставит перед собой и читателем автор, но трактуя ее с привычной практической точки зрения: «...впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые *числятся теперь живущими?* Что это за люди? *мухи, а не люди*» [6, с. 98] – в настоящем Собакевича люди не просто плохи, их словно и вовсе нет (даже «единственный порядочный человек», прокурор, не человек, а свинья [6, с. 92]), они не живут, но *числятся живущими*. Произнесенное, разумеется, в контексте ревизской сказки выражение представляется справедливым распространить на людей вообще, в частности на самого Собакевича: «Нет, *теперь не те люди*; вот хоть и моя жизнь, *что за жизнь? так как-то себе...*» [6, с. 137]. Подлинная жизнь возможна только в прошлом, настоящее же если не мертво, то мертвенно. Будущее в этой логике может сулить лишь дальнейшее и окончательное разложение: «Вы посудите, Иван Григорьевич: пятый десяток живу, ни разу не был болен <...> *когда-нибудь придется заплатить за это*» [6, с. 137]. Несмотря на тесную связь с прошлым, Собакевич привязан к настоящему, и указания на наличие и в его теле души не гарантируют ее пробуждения. Как и Манилов, он ограничен собственными конструктами, но, если маниловское будущее едва ли может стать лучше настоящего, будущее Собакевича может стать только хуже. Единственным выходом становится укрепление настоящего и попытка удержаться за прошлое.

В *Home Life in Russia* прошлое и настоящее Собакевича сохраняют оригинальные коннотации: настоящее так же мрачно, прошлое продолжает служить эталоном (...*they are all great rogues, the whole town of Smolensk* [10, с. 9]; ...*my late father was much stronger than I am* <...> No, *the men of our present day are not what they used to be formerly* [10, с. 111]; ...*what are the people now reckoned as living? yes, what are these people? flies, but not men!* [10, с. 25]). Временная путаница в описании крестьян при этом утрачена, незначительно, но все же сгущая краски темного настоящего Собакевича: оста-

ется только прошедшее время, все хорошее было [10, с. 24]. Неудивителен в связи с этим и его сохранившийся страх перед будущим (*Some fine day will dawn when I shall have, no doubt, to pay dearly for this, my present state of health and life* [10, с. 111]). В торге с Чичиковым, симпатии к нему, в деталях, демонстрирующих крепкую, неуклюжую, но стабильную природу Собакевича, по большей части сохранившихся в романе, читается его безусловная принадлежность к настоящему без надежды на принципиально иное будущее. Несмотря на то что и здесь отсутствие души в нем заявлено *кажуцимся* (*It seemed as if this body had no soul, or as if it was not at all where it ought to have been* [10, с. 19]), прочие ее упоминания не сохраняются вовсе. Привязанный к настоящему уже в оригинале Собакевич здесь практически не меняется. Одним из немногих он сохраняет прямое указание на возможность пробуждения души, будущего, однако его закрепленность в настоящем и стремление к прошлому не позволяют увидеть в этом полноценной авторской позитивной программы.

Настоящее **Плюшкина**, пожалуй, наилучшим образом соответствует общей статичности настоящего в поэме. Почти утративший человеческий облик, ставший «прорехой на человечестве» Плюшкин окружен вещами неживыми и потому почти неподвижными во времени, к тому же происходящими из разных моментов в прошлом: очевидно, старинная книга и высохший лимон не могут брать начало в одной временной точке, также и жидкость в рюмке не может сохраняться двадцать лет, что более вероятно в случае зубочистки, и т. д. [6, с. 108]. Неспроста полстены в его комнате принадлежит натюрморту, по определению как бы останавливающему мгновение и растягивающему его в бесконечность [15, с. 25–28]. Картина, однако же, вместе с кучей на полу комнаты исчезает из английского текста, как и колпак – единственное свидетельство обитания в комнате «живого существа» [6, с. 109]. Опущено и описание дома и деревни – картина полного упадка, соединение прошлого и настоящего без намека на будущее [6, с. 105–106]. Основная характеристика этого пространства – старость, и не опрятная, старомодная, «живая», как у Коробочки, но темная, мертвенная: «Какую-то особенную *ветхость* заметил он на всех деревенских строениях: бревно на избах было *темно и старо*» [6, с. 105]; «...на *темной* крыше, *не везде надежно защищавшей его старость*» [6, с. 106]. И все же *старый* сад за домом Плюшкина словно вдыхает жизнь в повсеместную мертвенность его владений [6, с. 106–107]. Если природа способна исправить «нищенские прорехи» человеческих трудов, то небезнадежна и «прореха на человечестве». Все это, однако, в *Home Life in Russia* отсутст-

вует, в совокупности со спецификой изображения прошлого героя указывая на незаполнимость его пустоты.

Плюшкин в поэме становится первым персонажем, с прошлым которого повествователь подробно знакомит читателя; второй и последний – Чичиков. Объединяет их также мотив пустоты («оборотничество» и безликость Чичикова и Плюшкин-«прореха на человечестве») и, что представляется более значимым, некий потенциал наполненности, в случае Плюшкина демонстрируемый прежде всего через прошлое. Именно в прошлом он был хорошим хозяином, имел семью [6, с. 112], «был умнейший, богатейший человек» [6, с. 137]; только говоря о прошлом, он демонстрирует «какое-то бледное отражение чувства» [6, с. 119]. Будущего у Плюшкина может и не быть, но как бы он ни был потерян для человечества в настоящем, его прошлое не позволяет полностью выпisać его из рода людского, словно ставит на прорехе заплату. По мнению Кривоноса, как антропологический символ Плюшкин выражает онтологическое падение человека [11, с. 27], с чем сложно не согласиться; но если есть падение, была и высота, утратив которую человек остается человеком по природе своей.

Тем временем из *Home Life in Russia* изложение прошлого Плюшкина, обстоятельства и детали его падения изъяты, и, хотя сам факт сохранен (*And to such a degree of meanness and degradation could a well-born man degenerate! undergo such a change!* [10, с. 64]), без подробностей пути к его положению в настоящем акцент окончательно смещается на последнее. Тем не менее, словно в противовес, отдельные углы в его образе «сглажены»: так, сухое «еще покойница делала» [6, с. 118] в отношении наливки сменяется более эмоционально окрашенным *This was distilled by my late and much lamented wife* [10, с. 57], опущены свидетельства патологического накопительства – образ оказывается менее гротескным, но отнюдь не менее безнадежным. Плюшкин *Home Life in Russia*, с одной стороны, более «очеловеченный», с другой – более упрощенный, лишен и прошлого, и будущего, и вся его роль сводится к демонстрации пугающей картины полной деградации человека.

Наконец, **Чичиков**, главный герой поэмы, ожидаемо отличается от помещиков, в частности темпорально: он «имеет не только прошедшее, настоящее, но и, что очень важно, будущее время» [8, с. 163]. Именно в будущее устремлены все его действия и помыслы, затмевая для него настоящее, и, в отличие от маниловской, его устремленность деятельна. Чичиков без труда трансформирует как настоящее, примеряя с разными собеседниками разные лица и роли, так и прошлое, перекраивая его в рассказах сообразно ситуации. Такое смелое

управление временем в определенной степени роднит его и с Ноздревым, однако если последний возводит свои конструкты без какой-либо цели, Чичиков добивается *искомого* будущего – благосостояния, способности обрести и обеспечить семью. В будущем – что, впрочем, неизвестно ему, – должно состояться и его духовное возрождение [6, с. 228]. В настоящем же, как и остальные герои, Чичиков, несмотря на постоянные передвижения, субстанциально существует статично: само по себе ни одно из его взаимодействий с помещиками и чиновниками, независимо от успеха, не приводит к глубинным изменениям в нем.

В *Home Life in Russia* статичность Чичикова в настоящем сохраняется и подчеркивается лишением его будущего. Финал перманентно останавливает не только перемещения героя, но и его жизненный путь, отправляя его в Сибирь: *The imperial messenger transmitted to Tchichikoff a document... our hero's countenance changed suddenly; his eyes became dim, and his face as pale as death. The imperial messenger then pointed silently to a sinister-looking carriage, called a Siberian kubitka, into which our hero was assisted, without being able to utter a syllable, and the next moment he was a dead man* [10, с. 314]. Чичикова ждет если не физическая, то метафорическая смерть, на что указывает как использованная символика, так и прямое объявление его мертвецом. Не менее красноречива и надпись THE END, завершающая текст романа. В то время как финал первого тома «Мертвых душ» актуализирует надежду на духовное возрождение героя, финал его английской переделки окончательно развенчивает ее.

Как ранее с Плюшкиным, обращение к прошлому Чичикова в последней главе поэмы позво-

ляет противопоставить сложившемуся впечатлению иную, «обратную» перспективу: «герой... словно *вытягивается* по временной вертикали и поворачивается разными гранями своего *деформированного* человеческого образа (курсив автора. – А. С.)» [11, с. 30], подчеркивая невозможность однозначного определения его сущности, заявляя его антропологическую символичность. В *Home Life in Russia* прошлое Чичикова переносится в начало (IV–VIII главы первого из двух томов), разрушая оригинальный эффект: такое расположение не создает дополнительной точки обзора. События основного сюжета в настоящем, подчеркнутые отказом от лирических отступлений и измененным финалом, прямо вытекают из прошлого Чичикова, а отцовское наставление *spare and gather up all your pence* [1, с. 47], ставшее основой его личности, словно сливает прошлое и настоящее, так как герой придерживается его на протяжении *всей* жизни и встает в один ряд с остальными мертвенно статичными персонажами романа.

### Заключение

Итак, в *Home Life in Russia* идея о потенциале возрождения души в каждом человеке отходит на второй план, возводя в абсолют плачевное настоящее российского общества. Автор словно запечатывает героев в нем, трансформируя или и вовсе опуская способы изображения их прошлого и будущего, редуцирует их до образа, в котором они существуют в настоящем. Каждый из них в результате представляет собой целостную, завершенную картину в галерее нравов, представленной вниманию английского читателя.

### Список источников

1. *Home Life in Russia*. London: Hurst and Blackett, 1854. Vol. 1. 308 p.
2. Lefevre C. Gogol and Anglo-Russian Literary Relations during the Crimean War // *American Slavic and East European Review*. 1949. Vol. 8, № 2. P. 106–125.
3. Нестеренко О. В. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» в англоязычных переводах XIX–XXI вв.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2010. 23 с.
4. *Athenaeum*. 2 December 1854. P. 1454–1455.
5. Ланн Е. Л. Литературная мистификация. Л.: Гос. изд-во, 1930. 233 с.
6. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем. М.: Наука, 2012. Т. 7–1. 808 с.
7. Кривонос В. Ш. Временная структура поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» // *Романтизм vs реализм: парадигмы художественности, авторские стратегии*: сб. науч. ст.: к 100-летию со дня рождения проф. И. А. Дергачева. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. С. 237–255.
8. Беспрозванный В., Пермяков Е. Из комментариев к первому тому «Мертвых душ» // *Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение*. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1994. Т. 1. С. 156–177.
9. Вайскопф М. Время и вечность в поэтике Гоголя // *Птица-тройка и колесница души: Работы 1978–2003 годов*. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 234–254.
10. *Home Life in Russia*. London: Hurst and Blackett, 1854. Vol. 2. 314 p.
11. Кривонос В. Ш. «Мертвые души» Гоголя: изображение человека // *Известия РАН. Серия литературы и языка*. 2012. Т. 71, № 1. С. 24–31.



12. Čuveleva N. Мертва ли душа Манилова? (попытка интерпретации образа Манилова в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души») // N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase: (studie o živém dědictví). Brno: Masarykova univerzita, 2015. P. 95–102.
13. Cut one's eyeteeth // Farlex Dictionary of Idioms. URL: <https://idioms.thefreedictionary.com/cut+one%27s+eyeteeth> (accessed: 07.05.2023).
14. Савинова А. Г. Натурфилософский код в поэтике художественного мира Н. В. Гоголя: всеобъемлющее дыхание // Сибирский филологический журнал. 2010. № 1. С. 34–38.
15. Подорога В. А. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. М.: Культурная революция; Логос, Logos-altera, 2006. Т. I. 688 с.

### References

1. *Home Life in Russia*. Vol. 1. London, Hurst and Blackett, 1854. 308 p.
2. Lefevre C. Gogol and Anglo-Russian Literary Relations during the Crimean War. *American Slavic and East European Review*, 1949, no. 2 (8), pp. 106–125.
3. Nesterenko O. V. *Poema N. V. Gogolya "Myortvyye dushi" v angloyazychnykh perevodakh XIX–XXI vv. Avtoref. dis. kand. filol. nauk* [N. V. Gogol's poem Dead Souls in English translations of the 19th – 21st centuries. Abstract of thesis cand. philol. sci.]. Tomsk, 2010. 23 p. (in Russian).
4. Athenaeum. 2 December 1854. P. 1454–1455.
5. Lann E. L. *Literaturnaya mistifikatsiya* [Literary Mystification]. Leningrad, Gosudarstvennoye izdatel'stvo Publ., 1930. 233 p. (in Russian).
6. Gogol N. V. *Polnoye sobraniye sochineniy i pisem* [Complete Works and Letters]. Volume 7–1. Moscow, Nauka Publ., 2012. 808 p. (in Russian).
7. Krivonos V. Sh. Vremennaya struktura poemy N. V. Gogolya "Myortvyye dushi" [Temporal structure of Nikolai Gogol's Dead Souls]. *Romantizm vs realizm: paradigmy khudozhestvennosti, avtorskiye strategii* [Romanticism vs Realism: Artistic Paradigms, Author's Strategies]. Ekaterinburg, Ural university Publ., 2011. Pp. 237–255 (in Russian).
8. Besprozvanny V., Permyakov E. Iz kommentariyev k pervomu tomu "Mertvykh dush" [From the commentary to the first volume of Dead Souls]. *Trudy po russkoy i slavyanskoy filologii. Literaturovedeniye* [Works on Russian and Slavic Philology. Literary studies]. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus, 1994. V. 1. Pp. 156–177 (in Russian).
9. Vayskopf M. Vremya i vechnost' v poetike Gogolya [Time and Eternity in Gogol's Poetics]. *Ptitsa troyka i kolesnitsa dushi: Raboty 1978–2003 godov* [Troika Bird and the Chariot of the Soul: Works of 1978–2003]. Moscow, Novoye literaturnoye obozreniye Publ., 2003. Pp. 234–254 (in Russian).
10. *Home Life in Russia*. Vol. 2. London, Hurst and Blackett, 1854. 314 p.
11. Krivonos V. Sh. "Myortvyye dushi" Gogolya: izobrazheniye cheloveka [Dead souls of Gogol: the image of a person]. *Izvestiya RAN. Seriya literatury i yazyka*, 2012, no. 1 (71), pp. 24–31 (in Russian).
12. Čuveleva N. Mertva li dusha Manilova? (popytka interpretatsii obraza Manilova v poeme N. V. Gogolya "Myortvyye dushi") [Is Manilov's soul dead?: (an attempt to interpret the image of Manilov in N. V. Gogol's poem Dead Souls)]. *N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase: (studie o živém dědictví)*. Brno, Masarykova univerzita, 2015. Pp. 95–102 (in Russian).
13. Cut one's eyeteeth. *Farlex Dictionary of Idioms*. URL: <https://idioms.thefreedictionary.com/cut+one%27s+eyeteeth> (accessed 7 May 2023).
14. Savinova A. G. Naturfilosofskiy kod v poetike khudozhestvennogo mira N. V. Gogolya: vseob'yemlyushcheye dykhaniye [Natural philosophy code in N. V. Gogol's poetics: universal breathing]. *Sibirskiy filologicheskii zhurnal – Siberian Journal of Philology*, 2010, no. 1, pp. 34–38 (in Russian).
15. Podoroga V. A. *Mimesis. Materialy po analiticheskoy antropologii literatury* [Mimesis. Materials on the analytical anthropology of literature]. Moscow, Kul'turnaya revolyutsiya; Logos, Logos-altera Publ., 2006. V. I. 688 p. (in Russian).

#### **Информация об авторе**

**Сердюк А. М.**, аспирант, Национальный исследовательский Томский государственный университет (пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050).

E-mail: am.serdyuk@mail.tsu.ru

#### **Information about the authors**

**Serdyuk A. M.**, postgraduate student, National Research Tomsk State University (pr. Lenina, 36, Tomsk, Russian Federation, 634050).

E-mail: am.serdyuk@mail.tsu.ru

*Статья поступила в редакцию 31.08.2023; принята к публикации 04.12.2023*

*The article was submitted 31.08.2023; accepted for publication 04.12.2023*